

к работе в институте, надо подумать... И отпустил меня. Несомненно, Кузнецову нужен был более или менее управляемый секретарь, во всяком случае, толерантный к кузнецовской партии. Что вдруг заставило его обратить взгляд на А.В. Лаврова — догадаться не могу.

Н.А. Богомолова тогда же выставили-таки в кандидаты на выборы в Академию. И прокатили. В закулисных играх «либералы» уступили Кузнецову за одного своего — три места кузнецовским. Вскоре после событий замечательный, несравненный ученый из «либерального» пула сказал мне, что иначе он и его единомышленники поступить не могли, провести именно этого своего кандидата, Вяч. Вс. Иванова, было их моральным долгом... И все пошло так, как прошло.

Николай Алексеевич воспринял происшедшее как оскорбление для себя, сказал мне, что больше в Академию ни ногой. «Вообще, — добавил он, — главным моим желанием в жизни было стать профессором МГУ, как был им мой отец, и я стал им!»

Роман Тименчик

Талан

За прошедшие со дня его смерти месяцы не ослабевает чувство боли и обиды, потери и беды. Потеря невозможная, потому что на той территории, на которой книгочей, педагог, скрупулезный комментатор Николай Алексеевич Богомолов укрепился — на истории русской литературы эпохи модернизма, — он контролировал все высоты, он обжился в этой эпохе, знал все ее ходы и выходы, владел ключами к пониманию ее хитросплетений. Из трех необходимых качеств филолога — начитанность, усидчивость и третье, пожалуй, самое редкое и дорогое, — именно это третье было ему выдано — везенье, пруха, талант. Он много знал и умел, не пренебрегал черной филологической работой, не доверял белоручкам, но усердием и выполнением полевой работы в архивах и книгохранилищах обеих полушарий не кичился, остерегался того, что называл «архивным фетишизмом». И, в отличие от самоучек, самородков и забредших на приманчивый огонек бесталанных охотников до литературоведения, он умел само-ограничиваться, замирать в боевой позе перед порогом, за которым начинается без-остановочное, бес-контрольное и без-ответственное парение над текстом. Он мог бы повторить за своим героем Михаилом Кузминым: «Дважды два — четыре, два да три — пять, вот и все, что мы можем, что мы можем знать». А знал он на зависть много.

Он был по заслугам принят в душеприказчики Брюсова, Ходасевича, Вяч. Иванова, Гумилева, и так далее, и так далее. Он был адептом и забытых «малых сих», и иные из них, из малых этих, вышли на авансцену его самоотверженными усилиями. В этом отношении, да и в других, он в последние годы нашел себе alter ego среди ученых былых времен — Ивана Никаноровича Ро-

занова с его знаточеством, вкусом к взвешиванию и промериванию литературных репутаций, с чутьем к ритму эпох, с равномерностью внимания к стиху и к песне.

Он был ученым современным, т.е. солидарным с духом времени, который вдыхало поколение его коллег. Вместе со временем он повернулся то к обшариванию литературного быта на предмет подоплеки смыслов в сочинениях символистов и постсимволистов, то к «спискам прочитанных книг» (О. Мандельштам) (каким оздоровляющим поворотом в гумилеведении, топтавшемся до того в десятке фактов из избыливающей пробелами биографии, была его статья «Читатель книг»!), то к пошаговому обследованию «пожелтевших листов в стенах вечерних библиотек», если уж помянуть Гумилева, то есть лежавшей мертвым грузом кипы незначительных повременных изданий начала прошлого века.

В той дисциплине (а это слово в случае Коли я бы сопроводил эпитетом из стихов Пастернака о его постоянном герое — «недетской»), которой ученый отдал свою жестоко оборванную жизнь, успех заключается в том, что твои обнаружения властно входят в общий информационный фон, становясь по ходу дела анонимными и как будто от века занимавшими свои места в историко-литературной картине. Без лица и названия предстанет изыскатель перед читателями в потомстве, но воздаянием послужат ему друзья в поколеньи. Не один только пишущий эти строки провел четыре десятилетия в постоянном мысленном диалоге с богомоловскими работами, вступая в этот диалог с подсказками и отсылками, подхватами и перехватами, с намеками, понятными двоим, от силы четверым-пятерым, с исправлениями ошибок «молча», как учили классики филологии. И в его статьях привычно было находить поправки, полу-вопросы, полу-уколы, опротестования. При неоспоримой и влиятельной индивидуальности Коля был человеком с чувством команды, и я думаю, что ему как записному болельщику понравилось бы, если сказать, что он часто выступал в амплу безукоризненного «чистильщика».

Сейчас, когда — в значительной степени стараниями Богомолова — в мозаике, живописующей российский модернизм, остались не приклеенными считанные кусочки смальты, хотелось бы напомнить сегодняшним дебютантам на поприще истории русского стихового возрождения про давний период первого «робкого» (как сказано тем же Пастернаком) интереса в глухую пору подцензурных времен и нравов, как она рисуется в наугад выхваченных кусках из писем Коли ко мне (с ломаными скобками, за которые, помнится, зоиЛ пенял ему и его единомышленникам).

13 ноября 1980 г.: «Не перепечатывалась ли в наше время статья Мандельштама “Пшеница человеческая”? В трехтомнике ее нет. Печатались ли стихи Беленсона где-ниб<удь> помимо “Стрельцов”. Мне не попадались» (Пшеница человеческая // Накануне. Берлин, 1922. 7 июня; перепечатана в 1982 году Л.С. Флейшманом в «Wiener Slawistischer Almanach», и в СССР Е. Тоддесом в «Тыняновском сборнике» 1988 года).

20 ноября 1980 г.: «Когда умер Грааль Арельский? И даты жизни Чудовского?».

29 марта 1981 г.: «Пишу Вам уже из Алжира и, конечно, не без дела: у меня появилась возможность опубликовать здесь статью об Ахматовой, которую я написал еще дома, но для нее мне нужен точный шифр письма Кузмина к Арбениной... <...> С литературой здесь плохо. Одно только то, что прямо у нас на

кафедре лежит много всяких старых книг. Очень много среди них бульварной беллетристики, но есть, скажем, “Плавающие-путешествующие” и “Тихий страж”, “Заклинательница змей”, “Повелительница” Берберовой. Стихов никаких. <...> Что делается в лит. мире, от которого я оторван и только случайно узнаю новости типа смерти Н.Я. <Мандельштам>, происшествия с К. Азадовским, рассказ о М.А. Балцвиннике... За все это я был бы Вам чрезвычайно обязан, потому что вне своей среды я живу, как рыба без воды» (статья об Ахматовой напечатана не была; о самоубийстве в Ленинграде Михаила Абрамовича Балцвинника <sic!>, создателя уникальной коллекции фотопортретов нереконструированных классиков русской поэзии XX века, сообщалось в парижской газете «Русская мысль», которая была доступна в Алжире).

30 ноября 1982 г.: «Дело в том, что я вплотную приступаю к работе над статьей для “Альманаха библиофила” о рукописных книгах первых советских лет и хотел спросить у Вас, не попадались ли Вам таковые — именно книги, т.е. нечто, рассчитанное на распространение не среди друзей автора, а становящиеся товаром».

5 января 1983 г.: «И еще: не попадались ли Вам где-нибудь в черносотенной прессе статьи Асеева? Этот странный вопрос вызван тем, что в письме к жене Ходасевич прямо называет его членом “Союза русского народа” вместе с Брюсовым и Бобровым, а статья об Асееве тоже отошла после Парниса ко мне. Естественно, специальных розысков по этому поводу я предпринимать не буду, а вот спросить — поспрашиваю» (в первом томе словаря «Русские писатели», вышедшем в 1989 году, в заметке Богомолова о Н.Н. Асееве опровержения ходасевичевского обвинения не находится).

29 июня 1983 г.: «Вызвался я еще для словаря написать заметочки о Звенигородском и Н. Бернере. Нет ли у Вас данных о смерти Бернера? Последнее упоминание о нем я нашел в вашингтонском “Содружестве” (1966), он в то время, если мне не изменяет память, жил где-то в доме для престарелых во Франции. А есть ли архивные материалы о Звенигородском где-либо, кроме фонда Архиппова? И еще — это уже для второго тома — какова судьба Н.Н. Русова в двадцатые годы и после? Нет ли чего-либо? Меня он интересовал попутно, я пока не рылся, поэтому буду благодарен за всякие упоминания» (замысел словаря «Русские писатели» за время пути подрос от двух томов до семи, и предельно содержательная статья Богомолова о Н.Н. Русове, потомке незаконнорожденного сына князя Урусова, дожившем как минимум до августа 1942 г., вошла в пятый том).

19 ноября 1983 г.: «Не знаете ли Вы кого-нибудь в Москве, кто бы занимался Ходасевичем? Я задумал составить сборник его стихов, расшифровал большинство черновигов ЦГАЛИ, просматриваю прессу, в которой он сотрудничал, но кое-чего не хватает еще. Так, например, у него есть загадочные псевдонимы “Елизавета Макшеева” и “Софья Бекетова”. Второй из них я встретил только однажды, а с первым вообще сталкивался только по библиографии. Где напечатаны стихи за этими подписями — Бог весть. Ведь Ходасевич очень много печатался по газетам московским, а все их просмотреть — дело почти невыполнимое. С эмигрантскими изданиями даже как-то проще — смотри “Возрождение” да отбирай. А вот с этими — намного сложнее. <...> А потом, Вы обещали запрос на дату смерти Бернера. Он не получил еще ответа? <...> Во время пребывания в Ленинграде я нашел еще несколько стихотворений Малова, не попавшие в “Тростник”. <...> Учтено ли Вами для “Бродячей соба-

ки” стих. З. Гиппиус в статье, которая так и называется — “Бродячая собака”? А в хронике “Русских ведомостей” мне попало известие о том, что Бальмонту после истории с пощечиной был послан специальный адрес, который среди прочих подписали Брюсов и Скрябин (19 ноября 1913, № 267)» (поясню не для современников и не для осведомленных историков «застоя» — в 1983 году ссылка на эмигрантскую статью З.Н. Гиппиус была практически невозможна без оговорки о ее антисоветской позиции, а эпизод с пьяным скандалом был при публикации истории «Бродячей собаки» сокращен до минимума осторожных печатных знаков — шла очередная кампания за ЗОЖ; стихи же Ходасевича были потом им изданы в соавторстве с Д. Волчком в «Библиотеке поэта»).

26 ноября 1984 г.: «Нет ли ответа о Бернере? Черный волнуется и говорит, что без этой даты он — первый кандидат на вылет из словника, а это было бы обидно. Ну вот вроде бы и все, потому что всяческие разыскания я пока забросил, погрузившись в писание книжки о поэзии 20-х годов, для коей чем меньше материала нетрадиционного — тем лучше» (вопрос о поэте Николае Бернере я задавал в письмах, передаваемых по okazji, Гарику Суперфину, Лазарю Флейшману, Глебу Струве; ответ о том, что он умер в доме престарелых под Орлеаном в 1969 году, пришел тогда, когда уже поздно было вставлять статью в верстку).

Из писем, последовавших после ускоренческого апрельского (1985 года) пленума ЦК КПСС, приведу только цитату из февральского письма 1986 года:

«Статью написать не удалось ну никак. На меня свалилось сразу столько современной советской поэзии (причем преимущественно в лице Василия Федорова, Егора Исаева, Андрея Дементьева, Роберта Рождественского и т.п.), что она отняла все оставшиеся силы и время. Единственное отдохновение, которое я себе позволяю — лекции об Ахматовой в Политехническом музее. Меня (услышав от Вас о моем интересе к А.А.) позвала Женя Иванова, и я усиленно пропагандирую там Ваши идеи. <...> Простите за краткость, но, ей-Богу, некогда. Надо опять браться за дементьевых и им подобных», — да из открытки августа 1986-го для все той же характеристики эпохи:

«В спешке телефонного разговора забыл Вам сказать, что Мне Волкова так и не позволила мне посмотреть дневники М.А. <Кузмина>, так что наше “соавторство” рассыпается» (я должен пояснить — в 1966 году студентом Латвийского университета я приехал на зимние каникулы, чтобы просмотреть дневники Кузмина и поискать отражения истории со Всеволодом Князевым, и по безопытной алчности провинциала заказал томики за многие годы; когда они заполнили мой рабочий столик, и я только раскрыл верхний, вошла сотрудница читального зала и сгребла всю пирамидку, объяснив мне, что по поводу моего заказа дирекция созвала селекторное совещание научного совета и по вердикту Ираклия Андронникова было велено закрыть их для пытливых читателей; впоследствии Богомоллов и С.В. Шумихин в 1990—2000-е подготовили их к печати).

Названная Колей Ахматова сказала в стихах, что «сделался каждый день поминальным днем». Слова «Нам будет его не хватать» не передают величины беды, свалившейся на его товарищ по профессии, они — стилистическая фигура преуменьшения, литота, как говорили греки.